



Лариса

МАРЕЕВА

**Вот и новая жизнь. И прежнюю погребя,
отрывавши своё, все почести ей отдав,
сознаю до конца: эта книга больше не про тебя,
но я даже не знаю толком, про что тогда.**

**Я пытаюсь прорваться к тайне, как звездочёт,
как фрейдист к заповедной сути чужого сна.
Но... река течёт, и берёзки стоят, и чё?
Если эта метафора, мне она не ясна.**

**Ни ответа, ни эха, сколько бы ни вопил,
лишь от лилии, вырванной с корнем, болит плечо.
Я слоняюсь повсюду, невидимый, как вампир,
не отражаясь нигде, не узнавая себя ни в чём.**

**И ни в ком. Все взгляды — как опустевшие зеркала,
мелководье там, где был омут и глубина,
даже чёрная дыра размером с Бога, кажется, заросла,
затянулась млечным бельмом,
и у неба не стало двойного дна.**

**С каждым днём прошедшим раны мои скудней,
тишина неподъёмней, и думаю я невольно,
что, казнив на рассвете царицу души моей,
обезглавил и мир, и рифмы, и колокольни.**

**Как рубашку с чужого остывшего тела снял
эту новую жизнь (под себя бы подшить рукав).
Видит Бог, эта книга больше не про меня.
Не про нас. Мы остались где-то в черновиках.**

СНЕГИРИ

Тем, кого я люблю, нет со мной ни счастья, ни шалаша. Потому ли так холодно в этом самом июльском из ноябрей? Добрый Боженька, дай мне новую кожу и тёплый шарф — я сбегу на Аляску и буду выращивать снегирей.

Как мне тошно оборачиваться вокруг их ран тысячами слоёв и кровоточить, когда они снова тычут в себя ножами. Добрый Боженька, почему Ты сделал так, что Земля — это шар, у которого нет краёв, и мы возвращаемся, как далеко бы ни убежали?

Снегири красногруды, но эта алость ни капли не солонa. Не кровь их сердец, окропившая перья, как несмыываемые чернила. О, если бы только земля была диском, стоящим на трёх слонах, как бы это всё упростило и изменило!

Я бы назло всем любимым, друзьям, мужьям,

всем июлям и нояблям,

снегирям, синицам и журавлям,

всем знакомым с детства и просто проходим с улиц,

прыгнула вниз и летела, раясь только о звёздные сколотые края,

и танцевала, пока бы не задохнулась.

Но мои кастаньеты щёлкают, как затвор. Мой подол, как праща, способен метать снаряды.

Не мог бы Ты, Господи, отвернуться, хоть пять минут не смотреть в упор, пока я тут привожу свою жизнь в порядок?

Но Ты смотришь и смотришь, в глазах Твоих слёзы, как жемчуга. И любовь так горька в них и так кромешна. И я иду танцевать по своей печали, как по лугам, в красном платье — немарком, как спецодежда.

*

Словно пред чащей — ветви, стволы, коренья,
переплетённые туже иной косы, —
так у тебя над каждым стихотвореньем —
колючая проволока заградительной полосы.

Всё, что за ней, убийственно или свято,
белая, заповедная тишина.

Как на крестах, на снежинках рядом распяты
все подходящие к случаю имена.

Вспомни далёкий город, родной и мёртвый,
тайна крест-накрест зашита в твоих губах.

Что там за ней? Концлагерь для унтервёртер
Или грибница ядерного гриба?

Он тебя держит — все эти шипы и крючья
с самого детства треплют твоё перо.
Можно поэта вывезти из колючки,
но не наоборот.

Рифма под правой ногой норовит качнуться,
выскользнуть из-под неловкого каблука.
Что там? Коротким строчкам не дотянуться.
В городе детства за нею была река.

Вывернутые корни твоих неврозов,
ружей настенных заклинившие курки.
О том, что дальше, прозой и только прозой: прямо и прямо — и так до конца строки.

ЧИСЛА

Ну что ты безумствуешь, вертишься, мечешь бисер,
им дела нет до твоих причудливых мыслеформ.
У них в голове генератор случайных чисел —
им норм.

Кончай уже так мучительно распинаться,
не про тебя свято место пусто на том кресте.
Ты спрашиваешь: «А есть ли Бог?» — они тебе: «112».
А ты такой: «Вопросы, видать, не те».

Да просто признай, что твой мозг — это сбой приборов,
косяк программиста, ошибка, случайный баг.
Ну вот ты спросишь кого-то: «Ты любишь меня?» — а он тебе: «240», —
скажи в ответ: «330» — и есть контакт.

И если тебе, дураку, не сидится дома,
подайся в паломники, в рыцари, в драмкружок,
но ты же ходишь... и с каждым встречным: «Ты хомо или не хомо?»
Да сколько же можно? Ещё бы фонарь зажёл.

И знаешь, вообще-то, заканчивай эти свои расспросы.
Невозмогу — ну иди работать или в кабак.
А то ещё спросишь у них: «Когда же я сдохну?!» — они тебе: «В 38», —
и как?

1

Такое небо. Боже, пронзает дрожь.
Туманный месяц спрятал карманный нож,
сквозь маску туч, прорезав их и прорвав,
небесный взор во мне пробудил волхва.
Звезда взошла над Поясом и Ковшом,
и волхв встряхнулся, вверился и пошёл.

По звёздам путь находят в ночи суда,
но всё кругами водит его звезда,
через экватор ниже ведёт волхва,
чтоб, как по льдинам, прыгал по островам,
чтоб мчался, как созвездие гончих псов,
кругом не видя плёсов и полюсов,
не видя белых храмов в сердцах столиц,
а только небо —

и полный Аустерлиц.

2

Яшла, как цепью, взглядом с звездой слита,
и вкус молитв узнали мои уста.
Взбиралась ввысь, брела по морскому дну,
на чёрном небе видя её одну.
Но мне никто не спел ни в одном псалме:
Настанет ночь. Звезда покинет меня во тьме.

Я спотыкалась, падала и ползла.
И закончила тем, что ум от горя приобрела.

И вот после тысячи лет блужданий в таком ключе,
бесплотных русалочьих прелестей и их неземных очей,
среди жемчугов, которые в собственных ранах моллюск растит,
всех стройных подводных замков, Китежей, Атлантид,
бескрайнего океана, где пропадали и более крепкие корабли,
эти большие глаза — цвета большой земли.

Эти глаза, явившиеся мне, словно благая весть,
и отражённый в них город, который есть.

Город, который есть.

И ты однажды вдруг понимаешь, что перестал тонуть,
что в этом городе можно выдохнуть — и вдохнуть,
что там не одно только дно, но и горы, и лесостепь,
что ты не боишься вечернего выпуска новостей.
Всё в норме, в порядке, всё движется по путям,
не будет египетских казней и злых инопланетян,
что это всё свет, и не будет ему конца,
земля нас не смоеет, как макияж, с лица,
и в крепких объятьях так радостно и тепло,
что взглянешь кругом... и, кажется, Ватерлоо.

